

САМА ПО СЕБЕ

В семидесятые Евтушенко и Вознесенскому во время выступлений приходили и такие записки (сам видел): «Как там Марина Кудимова, что она пишет?». Тогда у Марины не было ни одной изданный книги и жила она в Тамбове.

В восьмидесятые вышло пять. Первая — «Перечень причин» — в 82-м году (она уже была маленьким избранным-избранным из нескольких неопубликованных книжек). Пятая — «Область» — в 1990-м (это, напомним, последний год восьмидесятых — так же, как грядущий 2000-й, несмотря на решение Гринвичской обсерватории, всего лишь последний год XX века).

В девяностые ни одной книги стихов Кудимовой никто издать не догадался.

Зато в девяностые Марина проявила недолгий общест-венный темперамент. После путча 91-го стала даже секретарем Союза российских писателей (демократического). Российский писатель-демократ Чапаев на вопрос, в каком союзе он состоит, до недавних пор отвечал: «А в том, в котором Кудимова!»

Сейчас Марина абсолютно свободный художник. Ее членство в Союзе писателей решением Секретариата СП Москвы «временно приостановлено». Этой «временности» пошел уже третий год.

За что же Кудимову изгнали из своей организации братья-писатели? Получается за то, что вопреки модному парадоксу суверенитетов она пыталась их (писателей) объединить. В конфедерацию (на такую же форму объединения уговаривал поити новоиспеченных президентов Горбачев для сохранения другого Союза — СССР). Конфедерация семи (!) появившихся к тому времени союзов писателей, по мнению Кудимовой, была нужна для того, чтобы не отдавать писательскую собственность нуворишам (как уже случилось с писательской поликлиникой и рестораном Дома литераторов) и просто чтобы над писателями меньше смеялись (в том числе в высоких кабинетах). В конце концов СП — профессиональное объединение. Это Сталин сделал из него идеологическое министерство...

Удивительно, что в этом смысле наследниками Сталина оказались не только «идеологи путчей» из бондаровско-прохановской организации, но и демократы. И те, и другие поставили идеологию выше профессии. И презрительно отвернулись друг от друга, хотя конфедерация и не предполагала взаимной (конечно же невозможной!) любви и общности взглядов. Кстати, вряд ли все члены профсоюза ульчиков или нераспавшегося Со-

юза кинематографистов стоят на одних и тех же идейно-эстетических позициях.

В результате писатели (и те, и не те) потеряли почти все, что имели, в том числе и общественное уважение.

В общем, кажется, Кудимова была права. А отлучение от Союза писателей сейчас не то же самое, что во времена Пастернака или Галича. Ни социально-политическими последствиями не грозит, ни доблести не прибавляет. Тем более не мешает писать стихи. Да и сама Марина не сильно горюет по этому поводу. Другое дело — книжки не выходят. А причиной тому уже не союз-писательские разборки.

Наш взлелеянный советский коллективизм в общем-то нигде не делся. Только выродился: в корпоративность, в групповщину, в преступные сообщества, в бандформирования... И эта корпоративность,

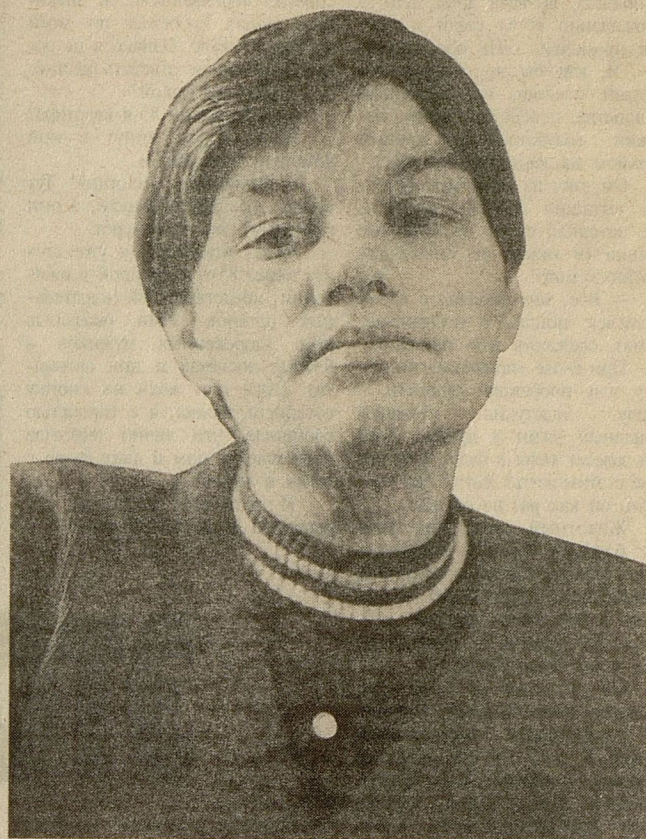
групповщина и т. д., победившие не только во власти, но и в литературной среде, охотно прощая неталантливость, не прощают одного: культурного одиночества, неприобщенности к своей «тусовке», незамазанности в своих играх.

Не из шестидесятников, не из постмодернистов (концептуалистов, куртуазных маньеристов, etc.)? Тогда — кто ты? Поэт, говоришь? Но разве может кто-то быть «этим и интересен»?

Такой взгляд постмодернистских критиков, издателей и книгопродавцев скользнул не по одной Марине. Но, пожалуй, она лучше многих сумела ответить столь же искренне равнодушным взглядом.

Почему Марине это удастся, можно понять, прочитав ее эссе, которое мы сегодня печатаем. А еще — предлагаем вашему вниманию новые стихи Кудимовой.

● Олег ХЛЕБНИКОВ



Марины

Прямая речь в поэзии не закавычивается

Я выросла на поселении, где коротали век, укороченный на пару десятков лет, пораженные в правах сталинские зеки. Я с младенчества знала, что здесь за слово карает беспощаднее, чем за деяние, а за злодеяние, как правило, поощряют и напоминают. Я не боялась быть наказанной, не ассоциируя наказание ни с преступлением (разве мой дед, разве сосед дядя Толя, кормивший меня супом и достававший мячик из крапивы, — преступники?), ни с несвободой (разве эти малинники, ежевичники, эти шлепки рыжиков под шатровой елью, эта тайга сразу за крыльцом — несвобода?).

Но я не хотела быть запомненной не только потому, что государственное понимание известности для меня было связано с испытанным на шкуре деда и дяди Толи злом, но и восприняв их выживательную зекскую мимику: не отсвечивай — кум мимо пройдет. Так, к сожалению, прожить не вполне получилось: глаз у кума — ватерпас. Не убеждение, что поэта никто не должен видеть, как китайского мандарина, осталось во мне пожизненно и помимо застенчивого «быть знаменитым — некрасиво». Я получила свою причинно-следственную прививку на сей шепетильный предмет. И я при этом знаю, что основной признак поэзии — запоминаемость.

«Ты создана для пожара», — говорил некто любящий. Мне ни разу не доводилось войти в горящую избу. На моих глазах горело то, что горению не подлежит: вода, воздух, асбест. Человек стел до меня. При мне новый феникс — кошмарный Фредри Крюгер, похожий на анатомический атлас в грязном свитере, — дожигал последний огнестойкий материал Творения — человеческий язык. Мертвые слова уже не имели запаха — они стали пемзой для скобления пяток. Но я действительно чувствую себя нормально в моменты кризисов, переломов, когда именно высокий духовный травматизм проявляет и, если надо, воскрешает человека, когда помощь как разновидность добра перестает быть неприятным выражением самости, становясь естественным продолжением самосохранности. Артемидовский охотничий азарт гонит меня в

очередь, в толпу, где я не ловлю ничего, кроме кайфа причастности и невылеченности. 17 августа я поняла, как мне было скучно все последние годы.

Некоторым скучно оттого, что мир бинарен, двояк. Иллюзия «особого пути» одинаково разрушительна и в политике, и в искусстве, пока животрепещущ базовый бинот бытия, введенный опять-таки поэтом:

Голод голодных и сытость сытых.

Бердяев писал, что когда хлеба не хватает, он переходит из материальной категории в духовную. Но если сытый голодного всего лишь не понимает, то голодный сытого и прибить может, а отношения между сытым и сытым, голодным и голодным однообразно безлюбовны. Как выбраться из этого?

Появление сытого премиального поэта, поэта-буржуа, говорит о легковоспламеняемости, фанерности нравственной основы человека неизмеримо громче, чем проституция или карманничество. Дар слова не предполагает дополнительных услуг — массажа тщеславия, рекламной поддержки спеси. «Но кто тогда узнает о тебе?» Это ваша забота, господа!

Функция прямой речи, утрачиваемая поэзией, обретается там, где голизна обыденна: в порнографии. Страх понятийности свидетельствует о плохом владении языком полнее, нежели голодовой неуд. Поэзия не уживается со страхом и не прощает безыязкости. Понятность не грозит ей генетически, потому что складывание стихов — заведомо иневоление. Но — как сказал Апостол: говорящий на непонятном языке пусть молится о даре истолкования. Между прямой речью и иневолением балансирует поэт, последний держатель огнеупорного языка за зубами. Шестикрылый серафим больше не прилетит: вложенное им жало слишком долго использовалось не по назначению или просто выплевывалось, как ватка с мышьяком в кабинете дантиста. Показывать язык в спину завучу? В определенном возрасте это перестает приносить моральные дивиденды. Прямая речь в поэзии не закавычивается.

● Марина КУДИМОВА

Марина КУДИМОВА

Великий Пан воскрес!
Я слышала вполуха,
Как он три шкуры драг
и очищал мездру.
Студента зарубив,
процентщица-старуха
Охаживать взялась
дебильную сестру.
Отечество мое!
Оставим разговоры...
Где не найдешь концов,
там проходных дворов
Вели не забывать.
Твои пророки — воры,
Начальники твои —
сообщники воров.
И если не воскрес Великий Пан,
то в детях
Откуда этот страх с клыкком,
как у волчат?
И твой народ — «челнок»,
а человек твой — в нетях:
Он не рожден еще и даже не зачат.
И паника зовет
в толпу, на пир оптовый,
К содомскому греху
и свальному стыду.
И если раб и червь ползет,
на все готовый,
То я уж от него и глаз не отведу.

Упала в цене «Королева Марго»,
Был в красном гробу
похоронен Иуда

И вышла из строя Украина, покуда
Я переводила блатное аргю.

Снимался с трудом
канонический лак,
И я заносила
в разбухший письмовник

Не что говорил Заратустра, но к а к
Сказал бы российский
герольд-уголовник.

Коленца откалывал он, загинал
Такие фигуры сквозь зубы стальные, —
Ломались конструкции переводные,
И пальцы отдавливал оригинал.

И — цепью к галере,
к барже — бечевой
Вязали язык раритеты и диски,
Но, будто канал
Беломорско-Балтийский,
Под стражей я рыла канал речевой.

От спекшихся губ,
точно струп, отлипал
Двуликий, толкучий,
гутливый, доходный.
Великий, могучий, правдивый,
свободный,
Как сквозь Плащаницу,
снутри проступал.

Едва ли обманется тот, кто стяжал
За грешное дело святое терпенье.
И если я снова сбивалась на «феню»,
Господь немостою меня поражал.

Юродство — извольте!
А вот шутовство —
Увольте, —
я в эту низину не съеду
И не повлекусь ни с того ни с сего
По ложному следу,
по ложному следу.

За этот молящийся матом народ,
За роковый лепет, за пьяные спичи —
До Ветхозаветного косноязычья,
До равноначального Слова —
вперед!

В пульманах, чай качающих,
И над аэродромом
Чаю встречающих
В городе незнакомом.

Там, где теля Макария
Отроду не кормилось,
Рыскала в оба карие,
Сдаваться кому на милость.

Без багажа усталая
От своего транзита,
По головам считала я
Жмущихся у exita.

Пьяная, вся в снегу еще,
Сверзавшаяся с подножки,
Радость моя минующая,
Встреть меня по одежке!

В толпах стою мельчающих,
В пустошах уповаю:
К сведению встречающих, —
Я прибываю!

ПРОЩЕНИЕ
Суверенного дара прощенья
Оттого не доверено мне,
Что прощенье бывает, как мщенье,
Где прощенному хуже вдвойне.

Не униженный и не прельщенный,
Пусть на воле, как конь среди трав,
Хорохорится мой непрощенный, —
Все равно ведь он
в чем-нибудь прав.

На груди своей руки скрестивши,
Пусть уснет он, как я не спала.
Доверяю себе, непростившей:
Я ему не соделаю зла.

Я обиды в душе не растила,
Ухожу, никого не виня.
И за то, что я вас не простила,
Умоляю, простите меня!

Никогда не умела одеться
По погоде
и в юном пылу
Материнства, а также отечтва
Не выказывала баракху.

Из своих облачений убогих
Выбирать ухитрясь не те,
Я в субтропиках мерзла, как бобик,
И потела в глухой мерзлоте.

Заминала оборки и складки,
Искривляла чулочные швы.
А возьмите платки и перчатки —
С теми вовсе держалась на «вы».

Я — бальзам на столичных вокзалах
Для карманника средней руки —
Оставляла зонты в кинозалах,
На садовых скамьях кошельки.

Можно вывести ряд вакханалий
С башмаками, ключами, а там
И дойти до интимных деталей
К ликованью критических дам.

Восполняла потери я вскоре
И с годами не стала нищей.
Это в сказке «Федорино горе»
Существует возмездье вещей.

Это в лирике вечное небо
Фигурирует не для того,
Чтоб какая-то баба-дулеба
Выливала помой в него.

Только речь не о казусе внешнем,
Не о том, каковы барыши, —
О великом рассеянье вещном,
О большом беспорядке души.

И меня еще зазрят зловеще
С отчужденными сердцем людьми
И мои беспородные вещи,
Бесфамильные вещи мои.

У меня есть пять сигарет с фильтром.
Я отдам их тому, кто хочет курить
Каждою альвеолой. Каждым фибром.
И терпеньем себя
не привык морить.

Я бы целых сто лет пролежала рядом
С тем, кто курит, —
затягивается и дымит,
И попыхивает, будто бы грезит адом,
И меня не трогает и томит.

Если б я купила большую сумку,
То, наполнив, перла б до Колобов.
Я б себе позволила третью рюмку,
Ибо первый тост всегда за любовь.

Только скоро волк не узнает волка
И рыбак восстанет на рыбака.
Кто же знал, что затянется
так надолго,
Что не хватит харчишек и табака?

Я б зачанку оставила где посуше:
Ведь пока соберутся
молебен творить,
Отпуская грехи, отворяя души, —
Почему б нам не выпить —
не покурить!

06.12.98